

ПО ПРИЗЫВУ Всемирного Совета Мира передовая общественность всех стран широко отмечала 100-летие со дня рождения А. П. Чехова. Выставки книг великого русского писателя, доклады и лекции о его творчестве, новые постановки чеховских пьес, просмотры кинофильмов, созданных по его произведениям, торжественные заседания и вечера, посвященные знаменательной дате, прошли во всех городах нашей Родины.

29 января в Москве в Большом театре Союза ССР состоялся торжественный вечер. Его открыл председатель юбилейного комитета, первый секретарь правления Союза писателей СССР К. Федин. Речь о творчестве А. П. Чехова произнес В. Катаев. На торжественном заседании выступили также заслуженный деятель искусств РСФСР театровед П. Марков, ударник коммунистического труда В. Чупров, польский литератор, член Всемирного Совета Мира Я. Ивашкевич, известный борец за мир, певец Поль Робсон. Ниже публикуются их выступления.

ТАЛАНТ, ОТДАННЫЙ НАРОДУ

Речь К. А. ФЕДИНА

Дорогие товарищи, дорогие друзья!

Нашу нынешнюю праздничную встречу в Москве, в Большом театре Советского Союза, этот наш торжественный вечер в ознаменование 100-летия со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова хотелось бы предварить немногими словами о тех фактах, которые могут служить доказательством его величия указывают нам место Чехова в мировой художественной литературе нашей эпохи.

Весь мир славит имя Антона Павловича.

На родине писателя в Российской Федерации, во всех союзных советских республиках, повсюду в социалистических странах и в странах старого мира на Востоке и Западе — везде в эти дни почитатели, ценители чеховского искусства заполняют аудитории, театры, клубы и залы, чтобы воздать честь памяти глубокого, обаятельного художника, открывшего новые страницы в истории реалистического рассказа, в истории новейшей драмы.

Это международное чествование художника слова приобрело воистину необыкновенный размах, исполнено радостной любви и яркого желания проявить сердечность, где бы ни происходило празднование во славу Чехова — в стенах заслуженного университета или в скромной сельской школе, на сцене прославленного театра или на подмостках любительского кружка в рабочем клубе.

Организация Объединенных Наций, одобряющая решение ЮНЕСКО провести юбилей Чехова во всем мире, масштабы; десятки общественных и государственных комитетов по чествованию писателя в странах Европы, Азии, Америки; книги, ученые работы, тысячи статей в журналах, газетах; с каждым часом возрастающее число радиопередач: каждый день умножаемые известия о новых постановках чеховских спектаклей; демонстрация на киноэкранах фильмов по чеховским произведениям; а наряду с этим — стихийно разрабатывающаяся самостоятельность масс, желающих отметить силы своих дарований 100-летие со дня рождения любимого писателя — вот факты этих дней, посвящаемых во всем мире нашему Чехову.

Да и неверно сказать — «этих дней», потому что во многих странах 1960-й год провозглашен годом Чехова.

Перед лицом этого события в советской и международной культурной жизни нельзя не задаться вопросом — почему в современную нам бурную эпоху непрерывно растет слава писателя, изображавшего самых обыкновенных русских людей в самых обыкновенных условиях конца прошлого века?

Чехов еще при жизни завоевывал себе читателя, зрителя, завоевывал почетное признание крупнейших и великих писателей современников. Но тогда же, при его жизни, наскадалась известная часть критиков легенда о мнимой непримечательности его таланта, якобы отдаленного воспеваю серых будней безвременья.

Это была борьба двух толкований Чехова, из которых одно состояло в признании исключительного гуманистического значения его творчества, другое — в утверждении, что творчество Чехова лишено какого-либо идеала. В плане морального спор, длившийся годами, не принес лавров тем, кто хотел бы окрестить Чехова выразителем общественного уныния. Борьба часто сводилась к стремлению реакции отказать в правоте прогрессивному взгляду на Чехова как на великого жизнелюбца, отдавшего всего себя и свой гений народному счастью.

К недавнему 50-летию со дня смерти Чехова стало уже очевидно, что легенде о нем, как певце безвременья, почти повсеместно наступил конец. Победило высказанное после смерти Чехова воззрение Льва Толстого, который назвал Антона Павловича «несравненным художником... Художником жизни...» и сказал, что «...достоинство его творчества то, что оно понятно и сродно не только всякому русскому, но и всякому человеку вообще... А это главное».

Это главное возмущало. Оценивая значение Чехова для художественного развития человечества, писатели старших поколений и наши современники измеряют это значение наименьшей мерой.

Английская писательница Кэтрин Мансфилд говорит о рассказе Чехова «Степь», что это «одно из самых великих произведений мировой литературы — своего рода Илиада или Одиссея». Американец Артур Миллер считает, что Чехов «ближе к Шекспиру, чем кто бы то ни было другой». Французский романист и драматург Франсуа Мориак пишет: «Для меня Чехов олицетворяет театр, как Моцарт олицетворяет музыку».

Удивительно поэтично сказал знаменитый писатель — ирландец Шон О'Кейси: «Чехов пришел в Ирландию, туда, где я жил, и нашел широкую открытую дверь каморки бедняка, его приняли с ирландским радушием и усадили на лучшее место у камина».

Можно повторить эти слова, сказав, что Чехову открыли дверь в страны и усадили его на лучшее место.

Художники несхожих убеждений и вкусов сближаются в своих представлениях о Чехове благодаря неоспоримости того «главного», что отметил Лев Толстой и что заключено в основе чеховского творчества — его человечности. Как бы ни были различны мастера культуры, они все согласны с тем, что Чехов произвел своим своим подготавливал мир к лучшей жизни, более прекрасной, более справедливой, более разумной. Мы находим это признание и в словах немецкого романиста Томаса Манна, и у китайского писателя Лу Синя, и у англичан Джона Голсуорси и Джона Бойнтона Пристли, и у французского Веркора.

Но было бы мало, если бы дело шло только о том, что гений Чехова обличает в толковании своего творчества разных писателей. Гораздо знаменательнее, что произведения Чехова ведут мировое общественное мнение через его искусство к источнику, которым оно вдохнуло — к русскому человеку, к русскому народу. И едва ли не лучшие многих выразили эту мысль французский критик и публицист Анри Барбюс. «Нельзя», — сказал он, — любить и почитать Антона Павловича Чехова, не понимая, что Россия, им описанная, что русские, несчастье которых он показал в своих произведениях, должны были превратиться в эту новую страну, в этих новых людей, которых мы видим сейчас».

Это действительно так, ибо это означает, что, с болью и горечью обличая ленивую, косную, несчастную Россию царских времен, Чехов ясно видел в своем народе здоровых, трудолюбивых, смелых людей и в них находил постоянную опору своему убеждению, что русская жизнь непременно станет прекрасной и счастливой.

Она стала такой. Великий Октябрь превратил нас в новых людей, новую Россию — в новую страну социализма, строящую коммунистическое общество будущего.

Если Антон Чехов в своей красивой мечте о счастье для всех, о высокой культуре для родного народа чего-нибудь не мог предвидеть — так это небывалой быстроты, с какой народ опрокинул все старое, что ему мешало на дороге к новой жизни.

Он дорог нам своего человечности, пронизывающей все его художественное творчество и его личность. И он дорог нам своим глубоким сознанием того, что прекрасное может и должно быть создано только трудом.

Алексей Максимович Горький, добрый товарищ Чехова, сказал об этом его жизненном и творческом создании: «Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основание культуры так глубоко, как Антон Павлович».

Человек и труд — вот созидательная основа нашей современности. Человек и труд — вот творческий девиз Чехова. Поэтому Чехов неотделим от современности.

Чехов был, есть и будет с нами и со всем миром.



В Московском театре имени А. С. Пушкина состоялась премьера драмы «Иванов». Роль Сани исполнила Т. Зайлова. Иванов — народный артист РСФСР, лауреат Ленинской премии Б. Смирнов.

«ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЖИЗНЬ!»

Торжественное заседание в Большом театре Союза ССР

БОРЕЦ ЗА СВЕТОЛОЕ БУДУЩЕЕ

Речь В. П. Катаева

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД в Таганроге в чеховские дни Мария Павловна, сестра Чехова, рассказывала мне о том, как работал Антон Павлович.

Этот рассказ навсегда врезался мне в память.

— Антоша!

— Не слышит.

— Антошенька! Посмотри на часы. Уже полчаса восьмого.

— Погоди, Маша.

— Опоздаем в театр.

Молчит.

А сам все пишет. Быстро-быстро. И не смотрит на бумагу. Шея вытянута. Глаза неподвижно устремлены куда-то вдаль, широко открыты и светятся, как плошки.

Мария Павловна именно так и сказала, как плошки.

Удивительно живо представилась вся картина: пишущий Чехов с глазами, как плошки. В это время он ничего не видел и не слышал вокруг себя. Все происходило в нем. Это была таинственная, сокровенная минута перевоплощения — самое драгоценное свойство подлинного художника.

Без этого дара перевоплощения, когда художник является в одно и то же время и творцом, и собственным творением, — писатель, как бы талантлив он ни был, никогда не станет великим.

Антон Чехов был писатель великий. У него был врожденный дар перевоплощения.

Он вышел из низов. Из самой гущи народной. Его дед был крепостной.

«Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупали ценою молодости», — писал Чехов Суворину, обобщая судьбу целого поколения русской разночинной интеллигенции, вышедшей из народа. — Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, миром разсезенный, ходивший по урюкам без калош, дравшийся, мучившийся, любивший обещать у богатых родственников, лицемеривший и бог и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдвигался из себя по каплям, раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Вот его страстно желал, вот что неутомимо проповедовал Чехов, вот во имя чего жил: чтобы в жилах людей текла не рабская кровь, а настоящая человеческая.

Это была основная тема его творчества.

Подобно другому русскому человеку из гущи народной — Ломоносову, Чехов не только «выбился в люди», как принято было высокомерно говорить о таких талантах из низов, но стал гордостью русского народа, наделавшей лучшей славой, наряду с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским.

На любви к Чехову сходятся люди самых различных, а подчас даже и прямо противоположных вкусов. Он признан всеми. Мне еще никогда не встречался человек, который сказал бы, что ему не нравится Чехов.

При мне спросили Маяковского, кого он любит больше всего из русских писателей, и он, не задумываясь, сказал: Чехов!

В этой связи я вспомнил другое высказывание Маяковского о Чехове, еще до революции, когда совсем юный Маяковский считал себя футуристом и по молодости лет испровергал «с Парохода Современности».

Все эти качества позволили Чехову не только очень глубоко, до самого дна проникать в самую суть всех явлений жизни, но и осветить их беспощадно ярким светом своего разума, без чего художник не в состоянии создать сколь угодно достоверные характеры, а тем более картину общества.

Говоря о писательском таланте, как теперь принято говорить, «мастерстве» Чехова, я имею в виду ту высшую простоту, скромность художественных средств, которые в руках подлинного художника стоят гораздо дороже самых изысканных словесных построений и метафор, многозначительных архаизмов и кустарных подделок под якобы народную речь в духе чеховского Елихова — словом, без всего того ложно художественного, что многие критики и до сих пор еще продолжают самоуверенно называть «сочном», «красочным» и чего, по свидетельству Ивана Бунина, Чехов терпеть не мог.

«...красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!», — говорил Чехов.

В смысле простоты изобразительных средств и в первую очередь языка со всей его возможной точностью, краткостью и ясностью Чехов является продолжателем лучших образцов классической русской прозы, которые нам подарили Пушкин и в особенности Лермонтов в «Герое нашего времени».

Недаром же Чехов так восхищался «Тамарой», считал ее лучшим русским рассказом.

Толстого, Достоевского, Пушкина и других классиков.

Вот что, между прочим, говорилось в статье Маяковского «Два Чехова», где он достойно приветствовал Чехова как одного из династии «Королей Слова».

«Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и обильно себя вечным и бессмертным... А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый и крикливый базар. В спокойную жизнь усадеб ворвалась разногласная чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками...»

Под стук топоров по вышине садам распродали с аукциона вместе с голубками, с красной мебелью в стиле полуторы дюжины лодовиков и гардероб изношенных слов.

Здесь Маяковский явно имел в виду знаменитый «многоуважаемый шкаф».

«Из-за привычки обывателя фигуры ничем недозволенного нытика», пишет далее Маяковский, — ходят перед обывателем за «смешными» людьми, Чехова — «певца сумерек», выступают линии другого Чехова — сильного, веселого художника слова».

Как видите, молодой Маяковский со свойственным ему своеобразием выступил на защиту памяти Чехова от тех критиков, которые всю жизнь мучили Чехова, называя его «нытиком», «певцом сумерек», «хмурым человеком» и прочими вздорными определениями.

Самое замечательное заключается в том, что мнение Маяковского о Чехове оказалось весьма близким по духу к пониманию Чеховым самого себя.

«Мое святое святых — это человек, здоровый, ум, талант, вдохновение, любовь», — говорит Чехов в письме поэту Плещееву и заканчивает так: «Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником...».

Чехов в этом еще сомневался! Он был не просто большим художником. Он был художником громадным. Гением. И, если разоблачить, он действительно всегда твердо держался своей благородной программы, которая жила в мире и поныне.

Интересно мнение о Чехове и Анри Барбюса. Однажды он спросил меня, каких из французских писателей я ставлю выше всего. Я назвал несколько прославленных имен, в том числе Мопассана.

— Мопассан! — воскликнул Барбюс в сильнейшем волнении. — Нет, вы шутите. Как! Вы, русский, можете назвать великим писателем Мопассана, в то время как у вас есть такой действительно великий, действительно гениальный, ни с чем не сравнимый писатель, как Антон Чехов!

А ведь еще на моей памяти считалось большим комплиментом Чехову, когда говорили, что он русский Мопассан.

Русский читатель признал и полюбил Чехова прежде, чем современная критика поняла его истинные масштабы. Даже после смерти писателя в энциклопедии «Просвещение» в статье Скабичевского, который прославился своим полным непониманием значения Чехова, Антон Павлович квалифицирован всего лишь, как «известный беллетрист».

Невероятно, но это так! Будучи писателем всемирным, Чехов прежде всего писатель русский. В нем соединились все лучшие качества русского национального характера: ум — широкий, свободный, незаискусимый, гордый, правдолюбие, неуемное стремление к истине, горячая любовь к своей Родине и к своему народу, бескорыстное, подвижничество служение этому народу.

И, конечно, — поразительный талант.

Все эти качества позволили Чехову не только очень глубоко, до самого дна проникать в самую суть всех явлений жизни, но и осветить их беспощадно ярким светом своего разума, без чего художник не в состоянии создать сколь угодно достоверные характеры, а тем более картину общества.

Говоря о писательском таланте, как теперь принято говорить, «мастерстве» Чехова, я имею в виду ту высшую простоту, скромность художественных средств, которые в руках подлинного художника стоят гораздо дороже самых изысканных словесных построений и метафор, многозначительных архаизмов и кустарных подделок под якобы народную речь в духе чеховского Елихова — словом, без всего того ложно художественного, что многие критики и до сих пор еще продолжают самоуверенно называть «сочном», «красочным» и чего, по свидетельству Ивана Бунина, Чехов терпеть не мог.

«...красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!», — говорил Чехов.

В смысле простоты изобразительных средств и в первую очередь языка со всей его возможной точностью, краткостью и ясностью Чехов является продолжателем лучших образцов классической русской прозы, которые нам подарили Пушкин и в особенности Лермонтов в «Герое нашего времени».

Недаром же Чехов так восхищался «Тамарой», считал ее лучшим русским рассказом.

Кроме Льва Толстого, никто из современных Чехову писателей не мог сравниться с ним по силе языка и вместе с тем по его удивительной прозрачности, почти неуместности, в чем, как мне кажется, Чехов зачастую превосходил даже самого Толстого.

Чехов был новатором в области литературной формы. Подобно тому, как Пушкин преобразовал русский стих, приблизив его к живой разговорной речи, так же и Чехов преобразовал русскую прозу, сделав ее язык более сжатым, емким, почти стереоскопически объемным и так же еще более разговорным, демократическим, народным.

Его новаторство, между прочим, заключалось также и в том, что он не усложнял тех элементов русской прозы, которые были выработаны по нему целыми поколениями писателей, и не привносил в художественную ткань различные изобразительные красоты и излишества, а, напротив, строже очищал язык от всего лишнего, в течение многих лет наросшего на нем, как ракушки на шле корабля. Как бы это лишнее ни казалось красиво, заманчиво-художественно, Чехов его беспощадно устранил, оставляя только то, что было абсолютно необходимым.

Этим и объясняется та волшебная легкость, с которой каждая созданная Чеховым фраза, каждая мысль доходит до сознания читателя и мгновенно усваивается, не требуя от читателя никакого дополнительного умственного напряжения. Нет ничего лишнего. Оттого-то Чехов, как принято говорить, так «легко читается». Чем проще, тем легче.

Эта высшая простота — плод неутомимого писательского труда, громадного творческого усилия. Она дается лишь истинному таланту.

Известно, что нежно любил Чехов Лев Толстой. По его мнению, никто не двинул русскую прозу так далеко вперед, как Чехов. Толстой назвал Чехова Пушкиным русской прозы. До настоящего времени еще никому из русских писателей не удалось в области формы пойти дальше Чехова.

Он достиг величайшего совершенства в умении сжать два элемента художественной прозы — изобразительный и повествовательный — в одно общее дело. До Чехова повествование и изображение, обычно даже у самых тонких мастеров, например Тургенева, за исключением Толстого и Достоевского, почти всегда чередовались, не сливаясь друг с другом. Описание шло своим чередом, повествование — своим: одно после другого.

У чеховского Тригорина, наблюдательного беллетриста, облако похоже на ролю. Недурно. Пахнет гелиотропом: приторный запах, вдобавок цвет. Второй цвет — совсем хорошо. Да же отлично. Наконец, известное тригоринское описание лунной ночи: на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот вам и лунная ночь. Ничего не скажешь. Похоже. Ну и что? Перифразировать знаменитое изречение Гёте по поводу похода нарисованного мопса, можно сказать: одной лунной ночью было, только и всего.

Но Чехов не Тригорин. У Чехова изображение лунной ночи настолько тесно сплито с повествованием о движении человеческой души, с течением жизни, что уже представляется собой не просто неподвижную картину, пейзаж, а нечто неизмеримо большее и качественно совсем другое.

Например, чеховская лунная ночь из повести «Три года».

Здесь нет ни геологической подробности разбитой бутылки, отражающей луну, ни приторного запаха гелиотропа.

Просто: «Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замощенных домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости, и недоставало только часового с ружьем. Цвета чернели... среди двора лежала черная собака...».

Все удивительно скромно, буднично. Но дело в том, что все это пропущено через душу героя повести Лопатова, сплос с его мыслями, чувствами, даже черная собака посреди залитого лунным светом двора, который, как сказано у Чехова, «валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, раздана и ему (Лопатову. — В. К.) и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...».

В этом поразительном слиянии изобразительного с повествовательным — одно из открытий Чехова.

У Чехова почти никогда не бывает безлюдных пейзажей. У него пейзаж спит с человеком. Пейзаж и человек дополняют друг друга. Вот в чем принципиальная разница между пейзажем Чехова и пейзажем Левитана, хотя почему-то принято их считать очень родственными. По моему, ничего похожего.

Чехов достиг величайшего совершенства в умении коротко, сжато, как бы вскользь, между прочим и почти незаметно для читателя дать законченный портрет человека. Причем это вовсе не эскиз, не беглая подмалевка. Нет. Это нечто вполне законченное, даже документальное.

Чехов, конечно, не был революционером. Но дело, которое он делал, — беспощадная критика современного общества, — сыграло, мало сказать, прогрессивную роль, оно оказывало определенное революционизирующее влияние на сознание сотен тысяч и даже, быть может, миллионов его прижизненных читателей.

Молодой Ленин, один из читателей Чехова, прочитав в журнале рассказ «Палата № 6», так выразил свое впечатление:

«Когда я прочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Это, быть может, самое драгоценное для нас свидетельство силы чеховского гения.

Художественное сознание Чехова не отставало от жизни, что постоянно случается с писателями среднего таланта. Наоборот. Сознание Чехова почти всегда опережало время. А быть впереди своего времени — это и есть главный признак подлинного художника.

Опережая свое время, Чехов был провозвестником новой, светлой жизни, которую угадывал в будущем.

Он говорил о гармоническом человеке, в котором «должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Но в том страшном мире капитализма, в котором жил Чехов, это было неосуществимо.

Нужна была революция.

«Здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка», — говорил словами чеховского Тузенбаха из «Трех сестер».

Эта буря, эта громада была Великая Октябрьская социалистическая революция с ее бессмертными коммунистическими идеалами. Только она одна могла превратить раба в свободного, гордого, гармонического человека, о котором всю жизнь так страстно мечтал Чехов.

Однако Чехов не был пустым мечтателем.

Страстная, беспокойная, горячая любовь Чехова к своей Родине и к своему народу была не пассивной и не сентиментальной. Это была любовь деятельная, требующая вмешательства художника в жизнь, освещающая все пороки общества для того, чтобы народ мог их познать, познать — уничтожить.

Чехов не был созерцателем. Он был борец.

Дар перевоплощения помогает Чехову найти для каждого персонажа свой стиль, неповторимую интонацию. Чехов поразительно музыкален.

Свои повести и рассказы он строит, как стихотворения, годичия строгой, сжатой ритмической формой. Это позволяет ему в маленькую повесть вместить такое количество материала, которого для другого писателя с излишком хватило бы на целый роман. Такая маленькая повесть-роман — тоже одно из открытий Чехова. До него так емко не писали, да и после него, откровенно говоря, так писать еще не научились.

Развитие этого чеховского открытия впереди.

Уже это одно делает Чехова совершенно новым, оригинальным явлением не только в русской, но и в мировой литературе.

Я уже не говорю о поразительном жанровом разнообразии Чехова: и миниатюры, и повести, и драмы, и водевилы, и записные книжки, которые, кстати сказать, после Чехова стали особым литературным жанром.

Чехов создал громадную галерею типов и характеров всех классов современного ему общества.

С поразительной достоверностью он изображал мужиков и помещиков, министров и беловещек, офицеров, жандармов, купцов, рабочих, капиталистов, священников, лакеев, хористов, кондукторов, матросов и великое множество прочих жителей Российской империи.

При этом каждый человек, как бы мало ему ни было отведено автором места, — не условная фигурка, не иероглиф, а подлинный, живой, многогранный человеческий характер, общественное явление со всеми своими большими или малыми противоречиями, с неповторимыми чертами и особыми характерными чертами.

Понятно, что этого достигнуть простым «изучением действительности» нельзя. Нужно горячо любить свою Родину, свой народ. Будучи человеком из народа, Чехов всегда жил народными интересами, жил для народа.

«...Ведь я не пейзажист только, — говорит чеховский Тригорин, — я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека...».

Можно не сомневаться, что это были и мысли самого Чехова, написанные в записной книжке.

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья...».

Чехов умел и любил изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых женщинах, о детях, о животных, о птицах. И все, к чему ни прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплой улыбкой. Но в основном он, конечно, был художник-разоблачитель. На первый взгляд он кажется мягким, даже лиричным. Но вчитайтесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почувствуете беспощадного сатирика, силой своей, на мой взгляд, ничуть не уступающего Щедрину или Гоголю, а кое-где и превосходящего их жизненным правдолюбием, художественной достоверностью.

Его сатира зачастую облечена в скромные бытовые одежды. Но тем не менее она и сильнее, и глубже, и действеннее.

При внешне спокойной, даже как бы холодовой манере Чехов с такой глубиной и внутренней страстностью вскрывает пороки отдельных людей и всего общества, что иначе как великим сатириком его не назовешь.

Он рубит под самый корень ненавистный ему мир русского общества и обывательства, с неслыханной силой он бичует, беспощадно высмеивает человеческую жалость, жестокость, самодовольство, глупость, чванство, бездарность, стяжательство. Он, например, за уши вытаскивает на свет божий и показывает всему миру опасного тулупца, дьявольски живучую разновидность «наукообразных» в лице профессора Серебрякова, который, как об этом в отчаянии восклицает несчастный дядя Ваня, «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве». Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно: значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее». Чехов показывает также страшную и на вид такую безобидную, миленькую мешаночку Натану из «Трех сестер», а на самом деле беспощадную хищницу, исчадие ада, воплощенное мещанство — злобное, воинствующее, изображенное в самом его омерзительном виде. Чехов высмеивает на всеобщее обозрение мракобеса, человеконенавистника, настоящего современного расиста Рашевича из рассказа «В усадьбе» с его: «В хари! В хари! В хари!», и холодного агониста, педераста Георга Орлова из «Рассказа неизвестного человека».

Чехов, конечно, не был революционером. Но дело, которое он делал, — беспощадная критика современного общества, — сыграло, мало сказать, прогрессивную роль, оно оказывало определенное революционизирующее влияние на сознание сотен тысяч и даже, быть может, миллионов его прижизненных читателей.

Молодой Ленин, один из читателей Чехова, прочитав в журнале рассказ «Палата № 6», так выразил свое впечатление:

«Когда я прочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Это, быть может, самое драгоценное для нас свидетельство силы чеховского гения.

Художественное сознание Чехова не отставало от жизни, что постоянно случается с писателями среднего таланта. Наоборот. Сознание Чехова почти всегда опережало время. А быть впереди своего времени — это и есть главный признак подлинного художника.

Опережая свое время, Чехов был провозвестником новой, светлой жизни, которую угадывал в будущем.

Он говорил о гармоническом человеке, в котором «должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

